



ТАТЬЯНА КОВАЛЬКОВА

Заместитель главного редактора альманаха «Русский мир»

Родилась в 1964 году в Ленинграде. Окончила факультет журналистики ЛГУ в 1988 году. Активный участник молодёжного движения за экологию культуры в период Перестройки. Работала корреспондентом в многотиражных газетах, в газете «Вечерний Ленинград». После окончания университета была приглашена редактором Надеждой Виноградовой на Ленинградское телевидение. Была автором в программах «Пятое колесо», «Крыша», «Монитор». Подготовила авторский цикл «Петербургские истории» (1988–1992): программы «Что такое Сайгон?» «Столица», «Подполье» и др. В 1989 году вышла замуж за петербургского поэта Олега Охалкина.

В первой половине 1990-х годов работала корреспондентом газеты «Православный Петербург», сотрудничала с журналом «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» и газетой «Русский вестник» (Москва).

В 1997–2005 годах преподавала специальность «гид-переводчик». Учредитель и автор методики Школы гидов-переводчиков для старших школьников (при филфаке СПбГУ) и организатор городской олимпиады.

В 2005 году вернулась к основной профессии: автор программ в проекте ВГТРК «По старому стилю». В 2006-м для телеканала «Культура» подготовлен документальный цикл о поэзии русского рока «Рок-версия событий». В 2007 году под патронажем НП «Международная ассоциация «Русская культура» как автор и режиссёр подготовила документальный цикл «Из истории петербургских семей». Выпущен один телефильм серии — «Из жизни Достоевских». С 2008 года член НП «Международная ассоциация «Русская культура».

АСЯ

Кто докажет, что я есть? Я разговариваю с собой, повторяя свои ответы невидимому собеседнику ещё и ещё раз, словно репетируя дурную пьесу, которая должна превратиться в скверный спектакль ввиду отсутствия зрителя. Я не владею ничем, что могло бы подтвердить моё существование. Моё тело и то не принадлежит мне. Оно двигается в пространстве, руки бессмысленно хватают предметы, которым надлежит оказаться на их законных местах: скомканной бумажке — в мусорном ведре — и ноги бегут к нему, купленное мыло должно оказаться в ванной — и это уже сотый шаг по лабиринту тесных квадратных метров. Я так много знаю об одиночестве из книг и фильмов, что следовало бы давно отнестись к нему как к явлению литературному, как к фантому экзистенциальной философии, — и никоим образом не относить к себе. Это было бы разумно, ведь вокруг меня люди: друзья, родственники, целые улицы людей, целые города, где мне приходится жить. Одиночество — глупый вымысел. Человек никогда не бывает один, как бы ему этого ни хотелось. И это реальнее реального, это собирает

меня по частям. И вот я — собранная и экипированная, словно для битвы, — исчезаю. Меня просто нет. Как доказать, что я есть?

Сегодня лето, июнь. В нашем городе это не всегда совпадает. Но сегодня мне повезло, и я иду по своей улице, отходящей от Невского проспекта, и радуюсь этому счастливому совпадению. Завтра приезжает мой друг — он из великих наших современников, о чём я знаю не из газет и телевидения. Эта увядающая четвёртая власть, как и любая власть сегодня, ничего не скажет о нём. Масс-медиа промолчали бы о нём, даже если бы узнали из компетентных источников, что он великий и что вот он здесь, потому что для них — его нет. Это не метафора. Для них он — человек-невидимка. Я закупаю в гастрономе вино и овощи для кого-то невидимого. Нас обоих нет. Тревожит лишь привычка доставать из кошелька деньги и расплачиваться за товар, шутя с молоденькими продавцами, — будто это может служить доказательством моего существования.

Я выбираюсь на улицу: тепло, всё, что движется вокруг, — шелестит. Весь мир издаёт ровное шуршание, какое производят крысы на соседней помойке. Я смотрю под ноги, боясь оступиться с тяжёлыми пакетами, и вдруг ощущаю темечком, что в этот мир оглушительно врывается боль. Она раскалывает воздух улицы и вырывает пакеты из моих рук.

Маленькая бледная собачонка, хромая на трёх лапах, истаяла возле меня. И вот она, безумно озираясь по сторонам, бежит к адовому потоку Невского проспекта. Я вижу рану на её боку, из которой сочится кровь. Она замешкалась среди прохожих. На нашей улице я многих узнаю в лицо — примелькались.

— Не знаете, чья это собака?

Мужчину неопрятного вида удивляет вопрос. Какое он может иметь отношение к столь незначительному объекту.

— Может быть, вы её с кем-то видели?

Женщины деловито торопятся, бросая отрицательный ответ. Я ловлю отрицание, аккумулирую и понимаю, что кроме меня здесь больше никого нет. Такси. Ветлечебница.

— Это моя собака. Нашла на улице. Мы улетаем с ней в Париж.

Врач недоверчиво смотрит на нас обеих.

— Нога ушиблена, но перелома нет, рана стреляная, но по касательной. У неё рак молочных желёз. Нужна стерилизация. Заграница иначе не примет.

Всем этим обладает существо меньше трёх килограммов веса, семи лет от роду, — оно в полном оцепенении от своей новой участи. Ей всё равно. Она устало скалится на каждое прикосновение к себе.

Жизни осталось в ней совсем немного, но она терпеливо ждёт. Она ждёт новой беды. Я посылаю ей сигнал: жизнь, дорогая моя, нам не принадлежит. Будем сражаться. Тебе будет хорошо в нежном ко всему живому Париже. В садах там шёлковая трава и тишина. Мы будем жить в раю. У меня светлеет на душе.

Но Асе всё равно (так отныне зовут мою собаку). Мысль о Париже ей чужда. Для неё есть только «сейчас». Теперь, как тогда, в Раю. Она чувствует боль и смертельную усталость — это и есть жизнь. Она мощным потоком заполняет пустоту бытия. Я чувствую этот мощный тягучий поток.

— Делаем все операции, собачью визу и французский паспорт!

Мой цинизм удивляет меня саму. Мне весело, можно сказать, что я в восторге. Я так люблю этих людей, которые вернут Асю к жизни. Я люблю весь этот мрачный город, прощаю безразличных его людей. Я живу моментом и не хочу знать о том, что бывает «завтра».

Через три часа на полу в моей квартире, у стопок книг, лежит сумка. В ней Ася с посеребренным брюхом вместо пластыря. Она словно мёртвая. Концентрат страдания на килограмм этого тельца повергает в молчание, — так это очевидно. До отлёта четыре дня.

До отлёта один день. Асю помыли. Она стала пробовать пищу, опробовала и родную землю, напоследок. На ласку пытается огрызаться, словно осознав, что кошмар жизни ещё не кончен.

Едем в аэропорт. Ася в просторном пластиковом бункере. У меня на душе покой.

Третий день дома, в Париже. У французов всё точно: моей Асе девять лет, у неё ещё одна не удалённая опухоль и катаракта. На последней прогулке она даже покаталась по травке. Благословенная французская земля!

Каждую ночь Ася кричит и стонет, а утром смотрит на меня своими слепнущими глазами оттуда, где времени нет. Жизнь возвращается к ней незаметно, лёгкой прохладой. Я счастлива. Мы вместе, мы дышим синхронно. Я есть.

ЗИГФРИД

Он — неуравновешен, груб и нежен одновременно. Она — тепла, ласкова и строга одновременно. В целом же они представляют собой неутоляемое желание. Поэтому вечность уже коснулась их. Сейчас они идут в Мариинский театр слушать Вагнера. Редкая удача побыть пять часов вместе, ибо они не вместе. Иногда им ясно видится, что вместе они были всегда и будут вечно. К чему отбирать силы у творчества и тратить их на устройство чего-то совместного. В воображении всё происходит мгновенно с максимальным выплеском сублимированной энергии. А главное — дерзко, жадно и абсолютно бесстрашно.

Сегодня дают «Зигфрида». Она сидит в пятом ряду партера, а кругом незнакомые люди. И все же она предвкушает с волнением взлёт занавеса. Его нет. У него репетиция, несмотря на больное горло, и гостя из Киева, словом — «бесы». Сегодня он будет работать много и тщательно, как всегда, желая быть первым. Про больное горло она знает от него, про гостью из Киева — знает сама, видела (так, ничего особенного). Последняя мысль особенно ей нравится — она сегодня такая красивая! Она окутана фимиа-

мом благоговейного мужского восхищения, открыто явленного ей пару часов назад. Кокетство не свойственно ей, но свойствен азарт — всплеск радости бытия. Это её свойство — нравиться и мужчинам и женщинам, хотя и не всегда бескорыстно. В данном же случае восторг был всеобщим и чистым, что особенно её вдохновило. В этом вдохновении она и погрузилась в эпическую историю любви героя Зигфрида и валькирии Брунгильды, сочинённую господином Вагнером.

Поют по-немецки, утрируя немецкое произношение: на «ишь» вместо «ихь». Бегущей строкой сверху проявляется смысл происходящего. Герой Зигфрид дик, груб, не знает страха. В её сознании с детства за именем Зигфрида стоял принц из балета Чайковского «Лебединое озеро», музыка к которому звучала в их доме с виниловой пластинки всякий раз во время длительной медицинской процедуры (серьёзная травма не позволяла слушать это в театре). Так мать пыталась украсить первое её одиночество. Новый герой Зигфрид не совпадал с мечтой, зато полностью совпадал с тем, кого она ждала сегодня. Это неожиданное совпадение погрузило в созерцание тайных смыслов. Герой необуздан и капризен, ибо его воспитал гадкий гном, но чист и благороден в намерениях, ибо рождён по воле и не без участия богов. Скрытый замысел о нём Всевышнего будет раскрыт через эротическую любовь, о существовании которой он узнает по откровению. Совсем не эпический контекст, где Любовь принимает то вид Блудницы, то вид Долга. Эрос, противостоящий Танатосу, — это наше время, это подстерегающая нас действительность. И она забыла, что сидит в опере, — в музыке Вагнера есть пространство глубоко личного.

Очнулась она лишь в конце действия, когда дева-богиня Брунгильда на языке классической философии объясняла герою, почему она боится его проснувшейся к ней страсти. «Когда ты смотришь в спокойную воду ручья, ты видишь, как ты прекрасен. Страсть — это рябь на воде, она искажает тебя. Верни себе свой образ и не приближайся». По-немецки это звучит в рифму. Герой в ярости, которая перемешивается в нём с робостью и впервые возникшим страхом перед возлюбленной. Страх поражает и сердце богини. С потерей чистоты она лишится своего знания и будет беззащитна перед предательством. Зигфрид безумен: хочу, чтобы ты принадлежала мне. Последнее воззвание Брунгильды к его разуму: я всегда тебе принадлежала, и буду принадлежать вечно. Герой мрачен: проснись к Жизни, ты всё ещё спишь. Хочу, чтобы ты принадлежала мне... сейчас. Гудят арфы и контрабасы, режут фаготы и валторны. Жизнь торжествует! Смерть ликует!

.....

Опера кончилась за полночь. Белая ночь была не очень белой, накрапывал дождь. Город из окна автомобиля казался совсем пустым. В этот момент и он уезжал. Машина прошла вблизи Московского вокзала.

Зеленовато-холодное мерцание улиц вернуло к реальному одиночеству. Оно было прекрасным и возвышенным на этот раз.

Ночь она провела в ужасных страхах. Маленькая гостья из Киева наяву преобразилась в страшную ведьму, которая терзала её своим коварством. Она больше не чувствовала себя красивой и потому была беззащитна перед её — ведьмы — реальной близостью к нему. Она его ревновала метафизически. Всплыла утешительная своим масштабом строчка Маяковского: «Любить — это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику...» Мысль о том, что гостья-ведьма может оказаться с ним в одной постели, совсем не мучила её по незнанию. Она умирала от ужаса, что эта женщина вот так просто может быть с ним рядом... сейчас... Наступившее утро превратило жизнь в ад.

«Господи, достойное по делам моим приемлю...» Прошрое ей представлялось каторжным трудом, будущее — одинокой пустыней, по которой ей придётся безмолвно брести. Все надежды — суетными. Она бессильно плакала, стыдясь вчерашнего вдохновения. «Придите, страху Господню научу вас... — всплывало в уме. — Разве в нём нет страха Божия?» Проверить это было невозможно. «Я в него верю, Господи. Я верю...»

К ней тёплой медленной волной стало возвращаться достоинство. В доли секунды мир из заброшенной пустыни, по которой ей обречённо предстояло брести, преобразился в расцветающий сад. Факты прошлого упорно стояли на прежнем месте, но её уже там не было. Она не надеялась на завтра. Она осталась с ним навсегда... сейчас.

ДОСТОИН ЕСТЬ

Старая Русса городок захудалый. Названий улиц в ней три десятка и всё советские: Либкнехта, Ленина, Маркса, Люксембург — немецкие по большей части имена. Из гениев положительного толка только Бетховен и Достоевский удостоены помечать здешнее пространство. Все магазины забились в едва приметные киоски или прячутся за пыльными окнами новомодных — кирпичом наружу — пятиэтажек. Увеселительных заведений, неподцензурных милиции, — нет, а из подцензурных славится лишь одно — на Старорусском курорте. Из сумрака роскошных деревьев, в фимиаме целебного воздуха всплывает светящаяся надпись — «Центр досуга». На подступах к нему у главной проходной курорта обычно шумно и почти весело. Охраняют ворота молодые милиционеры не ниже офицерского чина, что возбуждает неподдельный интерес местных барышень самого разного достоинства. С питейными заведениями дело обстоит чуть лучше. Ресторанчики, типа «кафе», можно встретить в центральной части города на набережной значительно чаще, чем жителей после девяти вечера, и весьма уютно обу-

строенными, что даже странно. Это воспринимается как привет из прошлой — довоенной, а то и самой дореволюционной жизни!

Таким же приветом, даже более — фейерверком, являются здесь ежегодные Достоевские чтения, случающиеся в конце весны. На них съезжаются разные московские знаменитости, а также специалисты из Петербурга и других городов России. В Петербурге знаменитостей нет, ибо чины раздаёт только Москва, ну а остальные и вовсе — просто порядочные люди. Одним из таких людей, который, вероятно, не пропустил ни одних чтений, является правнук писателя Дмитрий Андреевич. Он хоть и живёт в Петербурге, но открыт и доверчив, как будто только что из Новгорода, или Магнитогорска, или Осаки какой приехал. К этой его особенности здесь привыкли уже и в вину не ставят — понятное дело, люди учёные, благородные, всё понимают. Дмитрий Андреевич держится молодцом, как-то обречённо косит под купчика, будто извиняясь за что-то.

Деревянный дом писателя, что на набережной реки Перерытыцы, знают в городе все: и образованные по виду горожане, и совсем маргинального типа. Это гордость города. Он и в войну не сгорел и в половодьях не сгинул, а ведь у самой воды стоит! Все горожане любят дом Достоевского, его охраняет милиция, он под прикрытием неподалёку стоящего военкомата (тоже вот в уютном месте расположился) и множества музейных хранителей — в каждой комнате по человеку. Выверенные порядки советского музейного дела здесь в неприкосновенной святости. От этого дом выглядит ухоженным и, в идеальном совершенстве своём, — лишённым жизни.

Зато в другом доме — каменном, бывшей Беклемишевской усадьбе, который не так давно передали музею, — жизнь бьёт ключом. В нём-то и проходят Чтения по писателю Фёдору Достоевскому. В старинном особнячке уютно: недавний ремонт радует глаз, натёртый паркет источает хвойное благоухание, три директрисы-хозяйки на вид веселы и беззаботны. В разных комнатках разговоры tête-à-tête, а в верхней зале с балконом, откуда открывается вид на плакучие ивы над рекой, накрыт стол для чайного фуршета с пирогами по рецепту Анны Григорьевны — Достоевской, конечно. В этом пространстве так чудно понять вдруг, что у великого Достоевского было простое имя — Фёдор, Федя. Обычное для образованной среды величание по имени и отчеству, а именно Фёдор Михайлович, делает его каким-то равным, не выше и не ниже, можно сказать, приятелем. Простота имени, отчётливо проявившаяся в этих местах, разразилась как гром среди ясного неба. В трактирах и на улицах Скотопригоньевска остались невидимые следы присутствия этого Фёдора, вместившего в себя как-то разом всё злополучное это место. Он откликнулся на него всей сострадательной своей душой, приметив каждого, кому ближе к вечеру некуда пойти.

Приближался день Святой Троицы. Первые сумрачные тени набросили покров на землю. У ограды Георгиевской церкви остановился ста-

ренький «фольксваген». Из него выскочил дедок в гимнастёрке — и напрямик к барышне, задумчиво стоящей с фотоаппаратом перед закрытыми воротами.

— Корреспондент?— без всяких вступлений начал он.

— Да нет. Так, для себя снимаю, — машинально ответила она.

— Нынче корреспонденты не очень интересуются трудовым народом. Мне восемьдесят пять, — вдруг брякнул он.

— Неужели? Никогда не скажешь. Вы очень хорошо выглядите, столько энергии, — оценивающе оглядывая его, призналась барышня.

— Это я ещё небрит, — лукаво прищурясь, продолжал он. — Мне нельзя сейчас, у меня дело. Я тут неподалёку ферму держу — восемнадцать коров всего осталось. Со всем один управляюсь. Не ради денег держу, ради удовольствия. Я ведь разговариваю с ними. Я и раньше две пятилетки давал. Ко мне корреспонденты ездили, а теперь никому не интересен стал.

— Одному непросто, а семья?— вежливо поинтересовалась барышня, чувствуя, что разговор соскальзывает в колею бесконечного саможаления, требующего столь же бесконечного сочувствия, у которого всенепременно есть конечная цель.

— Жена у меня в Сибири осталась, я оттуда родом. Я звал, звал её сюда — не поехала. Сын в Ленинграде, и дочка была, погибла, под поезд попала — несчастный случай. Внучка осталась. Такая трагедия...— дедок выдержал паузу и продолжил, — а меня Фёдором Павловичем зовут, можно Федя. Эх, жаль, я всё молоко развёз, я бы тебя угостил. А то поедем в гости, тут недалеко. А хочешь, я за тобой завтра заеду, у меня вишь машина какая, — начал горячиться дедок.

— Завтра Троица, — напомнила вдруг барышня. — Время особенное.

— Я приду свечку поставить. Про это не забываю. Наш народ всегда был боголюбив, — вдруг сбился с тона Фёдор Павлович. — Читала, небось, в газете, что Сталин наш народ спас, войну выиграл. Я тоже считаю — он святой. Канонизируют, дело решённое. Этой бы власти тоже было бы неплохо о народе подумать! Ну так куда за тобой заехать-то, говори, — совсем распался Фёдор Павлович.

Тени от деревьев сомкнулись. Стало неприятно темно. Невидимый комариный рой пировал на ночной влаге. Двое у ограды разошлись. Стало покойно, словно кто-то благословил их выбор.

На Троицу утро выдалось чудесное — тёплое, с лёгкой прохладой. В полутёмном храме было влажно от берёзовых испарений. Народ теснился, ожидая конца литургии, после которой в этот день читаются коленопреклонённые молитвы — трогательные и печально возвышенные одновременно. Для «коленочек» в храме стелется свежескошенная трава, запах которой, перемешанный с запахом ладана, остаётся вечным напоминанием этого святого дня. Достоевсковедов в храме было немного. Ради них — тех, кто всё же постоял «на коленочках», — задержали немного

начало Чтений в этот день. Однако общего ритма это не нарушило. Время покатило обычной сдержанной волной, подгоняемой лишь движением мысли и небольшими амбициями. Так оно докатилось до позднего вечера, до торжественного ужина в честь трёх обладателей юбилейных дат. Одним из юбиляров, рождённым в год Великой Победы, в сорок пятом, был и правнук писателя Дмитрий Андреевич. Многолетний директор старорусского музея Вера Ивановна строго придерживалась советской иерархической традиции: оказывать персональные почести по мере убывания вклада каждого в науку о Достоевском. Правнука чествовали последним. Этот церемониал нельзя было спутать с другим, очень популярным сегодня, организованным на американский манер, когда самая яркая «звезда» появляется последней. Всё было по справедливости: больше преуспел — первым получил. О других юбилярах — видных учёных — говорили охотно, с эпитетами в превосходной степени, делая паузу для закусок и танцев. Последняя пауза затянулась, и к моменту поздравления правнука энергии поубавилось.

— Все мы хорошо знаем Дмитрия Андреевича. Он человек, который внёс большой вклад в дело организации этого музея, постоянный участник Чтений, хотя и не всегда с докладом, но всегда с большим интересом к происходящему. Что можно сказать о Дмитрии Андреевиче? Фамилия говорит за себя: Достоевский морфологически хорошо разбивается на «достойн есть»! Достойно ты, дорогой Дмитрий Андреевич, носишь эту фамилию.

Хор присутствующих одобрительно зашумел. Юбиляр засуетился, опять почувствовав тревогу за то, что надо как-то соответствовать. Следуя выбранному морфологическому контексту, он сбивчиво начал ответную речь:

— Мне припоминается, как я впервые приехал в Достоево, нет, простите, в Даровое. В Достоеве в Белоруссии, я, конечно, тоже был. Так вот, когда я впервые оказался в имении родителей Фёдора Михайловича под Москвой, то нашёл там только огромный камень на месте усадьбы. Я сел на этот камень и заплакал... за весь наш род Достоевских.

Он замолчал от волнения. В минутной паузе возникли десятки вопросов, но ни одному из них не удалось обернуться сочувственной речью. В воздухе повисло: «невнятный человек — невнятная реплика».

Праздник грустно угасал, подтягивая череду забот нового дня. Дмитрий Андреевич покинул дом одним из последних. Следующий — Духов день — был дождливым и резко холодным. Гости разъезжались каждый в своё время, следуя неизменным жизненным планам. Заканчивался и для города праздник, за которым он ещё вчера наблюдал из-за реки, судя о нём по светящемуся дому с колоннами и элегантным людям на балконе. Железнодорожный вокзал, — конечно, не тот изящный Старорусский, который можно видеть на старинных открытках, но новый, послевоенный, в стиле сталинского ампира, — встречал и провожал именитых гостей. Они исчезали по одному или небольшими группками, почти не оставляя следа.

Ближе к полуночи в полумраке вокзала появился нетрезвый, грязно одетый человек, чахоточно кашляющий. Он сел на скамейку, свернувшись в кокон. Почти следом за ним, валяжно ступая, появились два молодых милиционера и направились прямо к нему. Один из них помахивал резиновой дубинкой.

— Ты что, скотина, опять нажрался! А ну отваливай отсюда.

Человек в коконе не сразу понял, что это к нему. Пинки ногой заставили его простонать что-то в своё оправдание. Молодая женщина лет тридцати, одна из трёх посетителей вокзальной залы, оглушительно громко для этой пустыни произнесла:

— Оставьте его, он болен. Разве вы не видите? Что, скучно стало, размяться решили? Он никому не мешает!

— Он мне мешает, — сплюнул милиционер. Кровь прилила к его лицу.

— Что, силу девать некуда, чёртовы стражи порядка? — с напором ответила она.

Человек в обобщённом определении «бомж» поднялся и вышел вслед за парнями в форме, но вскоре вернулся. Следов побоев на нём не было. Он хрипловато, но ровно дышал, вновь сел на скамейку и вскоре впал в своё привычное оцепенение.

Звёзд в эту пасмурную ночь на исходе Духова дня на небе не было. Задувал резкий ветер, но ощутимо тепло. Последний автобус пришёл чуть позже последнего поезда на эту общую вокзальную площадь захудалого городка. Уезжали все, кому нужно уехать. Остались те, кто должен остаться.

ДИОНИСИЙ

Путь из Покровского до Ферапонтова занял неторопливые три часа. Редкое ощущение жизни в пространстве вне зависимости от времени. Само движение к не вполне очевидной цели наполняет смыслом каждую минуту. Можно рассеянно смотреть по сторонам. Очень давно, когда пространство ещё было важнее времени, это называлось — оглядеться.

Во время утренних сборов мелкие предметы первой необходимости быстро наполняли сумочку, а взгляд упал на раскрытую ещё вечером книгу с репродукциями фресок Ферапонтова монастыря. Мелькнула мысль: стильно, но тяжело, как всё узкоспециальное. Требуется труда исследователя.

День выдался тёплый, почти жаркий, с лёгким дыханием северного ветра. Благодарная земля, в меру политая дождём, блестела свежей зеленью. Сквозь кроны деревьев старого парка светилась новой розовой штукатуркой старинная усадьба Брянчаниновых — небольшое изящное сооружение, а рядом с ней бело-желтой громадой провожала церковь Покрова. Дорога до Вологды промелькнула знакомой темой. Мягкий автобус с кондиционерами от Вологды до Кириллова шёл по-деревенски медленно, под-

бирая по дороге приятелей и кумовьев водителя. На трассе проверяющий инспектор в форменной одежде тоже была своей тёткой, заботливо предваряющей «настоящий» контроль.

Кирилло-Белозерский монастырь всплыл градом Китежем, взрывающая топкую зыбь советского бытия русской провинции. Его десятиметровые крепостные стены благородно и мужественно обороняли нечто от пошлости мелочной жизни, копошащейся у их подножия. Есть, однако, и у великанов уязвимые места. У этого башенно-кирпичного великана — низкие ворота с утраченными запорами. Тонкой стружкой заползал через них в монастырь-крепость людской поток. Он проходил сквозь эту землю, оставляя на её поверхности женщин на огородах, девчонок крепкого вологодского сложения за сувенирными прилавками, парней на хозяйственном дворе, ключниц в длинной одежде, городского вида дам на музейных экспозициях, небольшую монашескую братию, которая скрывалась за табличками «не входит без благословения». Вместе с дачниками у крепостных стен на берегу озера — все они крепко держали эту землю своей неторопливой жизнью. Тихая радость сквозила сквозь скошенную траву, незатейливые клумбы, выбеленные стены наших древних бескупольных храмов. Она прочно взяла своё на каменных дорожках от храма к храму, вымощенных могильными плитами белозерских старцев.

За стенами монастыря вологодская предприимчивость радовала обустроенностью быта и разумностью цен на всякие услуги. Пожилой москвич, гостивший у сестры, отъезжая от местной кирилловской бани, взялся подбросить до Ферапонтова, куда городской автобус доезжает два раза в неделю. Пятьдесят километров туда и обратно — так, чтобы развеяться.

Небольшой Ферапонтов монастырь на высоком холме парит над всей местностью: озером, лесом, деревней, где большое количество роскошных дач-изб московской и питерской сановной интеллигенции напоминает о том, что «объект охраняется ЮНЕСКО». Вход в монастырь через надвратную церковь со стороны озера. Зелёный лужок разлит вокруг белокаменного комплекса церквей и построек, слепленного как большое гнездо. У одного крыльца вывеска: касса.

— Билетик будете брать по всему музею или только на фрески Дионисия?

Смысл вопроса ускользает. Нелепой кажется всякая расчётливость в этом месте. Вход в храм Рождества Богородицы как в домовую церковь — на уровне второго этажа, внутри переходной галереи. Пульс заметно учащается.

— Не хотите взять сопровождающего специалиста?

Новое коммерческое предложение вызывает раздражение. Одёргиваешь себя: разве оно коммерческое? Барышни одной реставрационно-иконописной школы Москвы ведут здесь просветительскую работу за скромное вознаграждение. Сопровождающих берут охотно, поэтому принуждён слушать:

— В конхе центральной апсиды вы видите образ Богоматери Одигитрии, которой преклоняются даже Архангелы Михаил и Гавриил.....

Голос этот постепенно исчезает, как и все голоса. Становится тихо. Через несколько мгновений тишина оглушает. Взгляд скользит снизу вверх по стенам, сводам, к куполу и обратно, с западной стены к алтарю и обратно, от образа святителя Николая в правом приделе — к образу Иоанна Крестителя в левом. Праведники, святители, праотцы, евангелисты, архангелы. Их фигуры объёмно выступают из троичной сферы: голубой, фиолетовой, охристой. Знакомые образы, дорогие лица с пронзительным взглядом строгих глаз. У остального рода человеческого взгляд телесный, полуоткрытый.

Евангельское повествование оживает в момент свершения таинства — все линии пересекаются, цвета взаимодействуют, мир горний и мир дольний в единой сфере, в едином пространстве. Это пространство — видимое — внутри тебя: «Господи, каким прекрасным Ты создал этот мир! Как нам хорошо с Тобой. Зачем грех, зачем война? Я — чадо твоё. Помяни мя во царствии Твоём».

Страшный суд страшен. Линии прерываются, энергии не взаимодействуют. Отчуждение и одиночество. Всех жалко. Но и в этом пространстве сохраняется гармония цвета, ибо и там есть Любовь Божия. Отдельным красным пятном фигура Сатаны с душой Иуды на коленях. Необратимость. Это и есть смерть. Тишину разорвал голос:

— Фреска «Видение на Божественной литургии» напоминает нам о канонических спорах пятнадцатого века исихастов с еретиками, отрицающими таинства Церкви....

Посетители с напряжённым вниманием вникали в слова экскурсовода. И вдруг разразился вопрос:

— А что, монахов выпускали на волю или они жили здесь безвылазно?

Барышня, будущий реставратор, растерялась.

— Зачем на волю. Они же пришли в монастырь добровольно. Конечно, существовал Устав...

— А там написано, что фрески эти рисовал Дионисий с сыновьями, — вновь перебил её молодой господин. — Как же это у монаха сыновья были? — подмигнул он понимающе.

— Дионисий не был монахом. Его напарник старец Митрофан был монахом, — заволновалась барышня.

— Да разве это важно, — и он отечески потрепал барышню по плечу, — главное, что это памятник культуры мирового значения, охраняется *юнэско*. Дионисий наш не хуже ихнего Рафаэля, я правильно понимаю? — вся группа добродушно рассмеялась.

Экскурсия закончилась. Люди исчезли. Господь Вседержитель в куполе храма благословил их, прикрывая левой рукой у сердца закрытую книгу.

НИНА

Нина лежала в гробу, чуть склонив голову набок. Красивая шёлковая косынка странно обрамляла лицо. Оно вновь было молодым, лишь утончилось. Печать последнего выдоха ещё была на челе её. Скорбная печаль лежала на нём. Эта скорбь нередко набегала на её всегда смеющееся лицо, но лишь на миг. Теперь же она сковала его навсегда.

Ритуальным полукругом, опасливо стояли вокруг гроба поклонники поэтического таланта её мужа. Своих друзей у неё было мало. Плохо знакомые между собой, сейчас они представляли нечто целое. Один на всех извиняющийся вид отличал эту группу.

Муж Нины сидел на скамье вместе с семьёй брата напротив гроба. Не привыкший к условностям, он чувствовал неловкость. Предписанная роль вдовца его явно тяготила. Свободный гений не выносил смерти — или как там это лучше назвать? Мёртвое тело его явно не вдохновляло. Он нервно отворачивал лицо всякий раз, когда приходилось взглянуть перед собой.

Сарказм исказил его всё ещё красивое и гордое лицо.

Ты, близлежащий женщина, ты враг ближайший. Ты — моя окаменелость.

И далее:... *и в «до свиданья» веточку омелы.* И в конце стиха: *Мы в жизни не сумели умереть, жить в смерти — сверхъестественная роскошь.*

Жуть комом всплыла в груди вместе с обрывками этих строк, обращённых когда-то к ней, к Нине, как всплывает она при виде детской игры «в ножички».

Досада сменила надменность во всём его облике. Он вдруг — на минуту — предстал жалким и очень пожилым человеком. Она всегда раздражала его: восторженностью, суетливостью, приятностью вместо красоты. Но, больше всего она раздражала его своей заботой, без которой он не мог жить.

Печально-романтическая музыка, зазвучавшая вдруг ниоткуда, чуть согрела это холодное пространство. Что-то из Шумана или Шопена. По залу пробежал лёгкий ветерок, совсем тонкий, как сквозняк.

Невысокого роста дама с обкомовской выправкой весьма искусно импровизировала на тему личных достоинств умершей. Тихая музыка всё звучала. К её красивому голосу только один человек решился добавить свой голос. Слов оказалось немного и все они были о том, что все присутствующие очень благодарны Нине за то, что она была настоящим другом и помощницей гения, его верным Ангелом-хранителем, и как жаль, что болезнь так рано оборвала её жизнь.

Прощание шло под ту же музыку, без целования, как это принято в храме. Каждый торжественно подходил и клал руку на край гроба, смотря

на лицо почившей. Нарушить этот запущенный ритуал было невозможно без привлечения внимания. Никто и не нарушил, боясь показаться сентиментальным. Её муж к гробу не подошёл и выскользнул из залы в первый же приличествующий случаю момент — на воздух, покурить. Там, на свежем воздухе он любезно принимал соболезнования, кротко улыбаясь благодарной улыбкой.

Когда десять лет назад она заболела, он ей сказал такие слова: ты искала работу — вот она у тебя есть. Бороться с болезнью — это работа. И он ей посоветовал вести дневник. Он ненавидел реальность, но любил постигать внутренний смысл вещей, в чём был подобен кусту омелы, питающемуся чужой жизнью. И она вела дневник — изо дня в день, описывая свою борьбу. Вначале писала она о том, что паника мешает цветению сил. Глубина жизни, похоже, равна глубине смерти, то есть бесконечна. Конечная бесконечность. Её охватило сильнейшее чувство превращения — вокруг и внутри, всё время хотелось озираться по сторонам, чтобы что-то увидеть. Но виделось совсем немного. Он панике не поддался: «враг увидал достойного врага», «крепи паруса». Она благодарно поверила, привычно восклицая: да здравствуют сад, весна и цветы, он мой главный и единственный защитник. Его имя лучится. У меня много времени. Мне нечего унывать. «Всё нормально, — говорю я ему, ясному как утро. — Всё всегда нормально, — отвечает мне утро, — он победитель». Я здесь, я сейчас, я есть.

И она всё видит, всё замечает. Вот халатик на спинке больничной кровати. Его очертания всегда изящны — вот ткань, о которой можно сказать: грациозна! Надета она или сама по себе — в характере. Сто поз у этого «китайца»! Тысяча слов! Зелёные символы. Лепестки слив вытканы золотом и алым. Но слив — нету, пора вечной весны, задумчивость над веслом. Лодка скользит по зелёному шёлку, может быть, сумерек... Она подробно описывает счастливые дни, чтобы потом, когда станет хуже, переигрывать их, как пластинку. «У него было плохо с сердцем. Наверное, ношпу не принял. Вот беда, что ж это такое. А я ему не помогаю, а сижу тут в больнице. Но всё, всё, с субботы я дома и буду его холить и лелеять, сварю свекольничек, нажарю мяса, всего-всего, покормлю его вкусненько».

О полной гибели всерьёз речь пока не идёт. Она с его лёгкой руки в Швейцарии. Женевское озеро, горы и его настоящая, быть может, любовь. Она нужна, раз он проявляет столько внимания. Как он там выдержит без неё ещё неделю, неясно. Будет ходить голодный; одинокий, как волк, совсем одичает. Интересно, что сказал ему Фрэнк Рив. Может быть, сумеет что-то опубликовать? Мысли всё роятся, роятся. А под платочком отрастают волосы. Волосы — это её гордость, сила и красота.

Нет, нет, лучше не вспоминать то страшное утро, когда она впервые рассталась со своей пшенично-серебристой косой, в два кольца обвивавшей её голову. Она обрезала её ножом, чтобы не сойти с ума. Он так презирал трюизмы и банальности, слова такие «я люблю тебя» и «не судьба»,

что упиваясь ими, говорил «не верю». И в подтверждение слов не к шляхам уходил, а приводил их в дом, где всё в нём облюбовано, обласкано её руками. Приказывал служить. Так он с реальностью боролся, ложь обличал, и тайный смысл вещей наружу выводил. Артист, что скажешь! И сонм поклонников, поклонниц, среди которых и критики случались, могли разумно это объяснить, хоть так: что безысходность, мол, в душе его шипами высокомерия нас от него отрезала. Но в то же время эта безысходность и убежденность, что *«Я сам в себе. Всё остальное – Слово, осмысленное, смертное, как вещь»*, — уже есть право судить действительность по самой этой *высокой* мере. Что бедной Гретхен, нашей бедной Нине, с её действительным добром, которое в тушёной с баклажаном сёмге заключено, тут делать? И в этом вся вина. Он ненасытен — голодный демон, волк своих желаний, конь красный своего презренья и белый пудель-оборотень тьмы. Он так невинен в своём стремлении к чистому белью и вкусной пище на каждый день, что не случись того или другого, так мелкими придирками измучит, в сердцах бросая игрушки на пол. Ну разве не очарованье? И его здоровье под большой угрозой уж давно, лет сто. Кто ж осудит? Она и не судила. Давно забыла косу золотую и всё простила.

Цюрих. Хозяева отеля слушают песни на его стихи, на русском, кажется. Остаётся ритм. Вот речка Лимат, вниз по течению которой есть церковь с фресками Шагала. Так чудесно бродить одной. Молчание и речь внушают впечатленье. Здесь особая теплота во всём. На родине — холоднее в жизни. Что-то есть «за» событиями всегда. Видимо, есть не то, что касается тебя лично, хотя это ты, с тобой происходит. Как плохо написанная буква имеет за собой другую, идеальную букву.

Так она рассуждает в последний день прежней жизни. Она здесь и сейчас и день её счастлив. Завтра — на работу, наконец — больница.

Оперировать взялись только дома. Как он там — бедный, голодный, — и болячка эта так не к месту; а он терпит. Он посылает ей лучи и энергию! Он верит, что это ненадолго. И ей кажется странным соображение, что жизнь кончается в расцвете её прелести и понимания.

А ей хотелось быть много дней возле него и с киской вместе; и читать, и переводить с французского. И готовить еду, и ремонтировать квартиру. И сад украшать... Каким он сразу станет заброшенным, печальным. Болезнь должна уйти совсем. Нельзя ей дать победить. Ради всего, что есть на свете, что она любит. Ради мамы, ради него, ради кисы, ради Ленки, ради сада и домика во Мшинской.

Первое лето сад без неё: ах, если б бедным кабачкам хватило влаги! И огурцам! Я была бы так счастлива, так рада! Боже ж ты мой, как же там всё заросло! Эх, как бы там дорожки-то прокосить бы! Приедем — трава по пояс! Если приедем. Боже ж ты мой, надо как-то спастись, милые вы мои. Одуваны там сейчас гроздьями цветут, наверное, и цвет набрала айва. А уж нарциссы-молодцы стройно белеются! Интересно, пчела-опылитель

летает в такую погоду? Должна. Василиску уже тля лопаёт, наверняка. А уж калину — точно облопала всю. Жимолость только, может быть, выдержит моё отсутствие, да смородина. Яблоньки бедные цветут тихонько, никто их не похвалит. Гусеницу не изловит. Беда, да и всё.

Поначалу этих операций будет по несколько в год, потом реже. А между ними: гимнастика цигун, прогулки, таблетки, обследования, магазины, сан-техники, походы в секондхенд и готовка, бесконечная готовка — духота. Её бедный «мамик», ей уже за восемьдесят, друзья — всё с ней, рядом.

Тело бrenно, но дух свободен. Борьба не столько за жизнь, сколько за свободу духа. Может быть, жизнь — это и есть свобода. А смерть — ? Вот храм. Не зайти ли? В церкви приятно, мило, чуть душно, почти пусто. Обошла все иконы, нашла три приемлемых для себя образа. Один тёмный и неизвестный, потом копия Тихвинской Богоматери и образ Николая-чудотворца. Красиво выглядят двухрублёвые свечки, тонкие и изящные, хорошего желтоватого цвета. Солнце светит косо в круглые окна вверху. У этого дня есть и ещё одна яркая деталь: красные райские яблочки у соседнего дома, как в икебанае на выставке Кавати, краснобокие, желтобокие.

Она видела себя как бы со стороны — в плаще коричневом и платке светлом. Креститься она не пришла.

На исходе второй год её болезни, как и его терпение и благородство. Он её не называет никак. У неё нет имени, ну разве что, жено. *«Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь»*. Наступил ноябрь, ноябрь во всём. Это в стихах. А в общих квадратных метрах — тесных и пыльных от картин и книг — его стократное «ты меня угробить хочешь!» Понять он уже не пытается. Ему плохо — это всё, что он знает. Завтра надо везти его к зубному. А у неё самой всё болит, душно, нервно, выспаться невозможно. В лёгких копится слизь. Нет отрады!

По телевизору программа о ЛИТО восьмидесятых. Снято мало, да и того посмотреть толком не удалось. Каким он был тогда — фантастика. От того времени ничего не осталось. Об этом рассказать невозможно. Сейчас он в волнении по своему запору, и это повторяется регулярно. Звонила мама: нашла фотографии, где она — её Нина — хорошо выглядит, и плачет.

Сегодня Прощёное воскресенье. «Прости ты меня, свет белый». Губы сегодня голубоваты. Но есть и хорошее. Ещё хозяйка дома! Киска миленькая любит! И выпалась — кайф! Спи, дружочек, спи крепко, до утра!

Опять больница. Палата номер двадцать. А у него всё хорошо, есть борщ, всё прибрано Натальей.

Вот и июнь. Прохладно, дожди. Она на даче, в своём саду, но с мамой. Готовить не может, всё больше лежит. Он не едет, ждёт потепления. Всё же на один день приехал, навестить. Шлёт ему сообщения на пейджер: Понемногу приживаемся. Всё в порядке. Целую. Нина; С дыханием так же плохо. ц. Н.; Много милых цветочков, но душно. ц. Н.; Прячусь от жары

в доме. Прилетел дятел. ц. Н.; Воздух свежий, дышать полегче. ц. Н.; Готовимся к отъезду. Сильный дождь. ц. Н.

По возвращении домой посылает сообщения друзьям: Без перемен; Некоторые книги у меня тоже вечно под диваном; Красота! Подписи нигде нет. Все помнят, что это она — Нина.

Первое сентября, семь утра, подруге: Сплю, не буди. Через полчаса её не стало.

Нина лежала в гробу, чуть склонив голову набок, как уснула. Скорбная печаль лежала на её лице. Она так и не дождалась любви.

Прах Нины был развеян над её любимым садом, где деревья ещё помнили тепло её рук. Она была уверена, что у сада есть душа. Теперь она там, где была любима. Помяни, Господи, во Царствие Твоем не принявшую святого крещения Нину, аще возможно есть. Имиже веси судьбами, помилуй. Ведь все мы, Господи, творения Твои и дела рук Твоих.

P. S.

— Уфа, у тьянь, — говорит Нина, — тяжело.

А мы слышим:

О, сад, сад
 Где растения гуляют на львиных лапах
 Где Кыся-капустка-арбузка
 улыбается торжественно как царь
 Где в пруду-телевизоре
 живут миллионы тварей летучих
 и миллионы подводных
 Где смородина рукоплещет
 в зелёных бусах
 Где Виктор спускается на паутинке
 с небес за чашкой чая и сердце Сада ему поёт
 Где Дом, красная улитка с трубой
 уютен и утром, и не боится ночи
 Где вечные имена запечатаны
 в каждом листке
 Где колокола колокольчиков
 играют неслышно и в унисон,
 и шмели настраивают их
 ... Там я собираю в корзину дни,
 как плоды кабачков, звонкие и золотые.